

ИВАН КАРАСЁВ

ЖИЗНЬ ОДНА



16+

Иван Карасёв

Жизнь одна

«Автор»

2020

Карасёв И.

Жизнь одна / И. Карасёв — «Автор», 2020

ISBN 978-5-532-03786-1

Это сборник коротких повестей и рассказов о войне. О той, о которой у нас до сих пор говорят просто - война. Не наполеоновская, не Первая мировая, а война. Но здесь вы не найдёте длинных пассажей о пушках и танках, о самолётах. Даже о боях с врагом. Это проза о войне и человеке. О его страданиях, его бедах, чувствах. Судьбы героев этого сборника почти повторяют гениальные слова из песни Высоцкого «И на ней кто разбился, кто взлетел навсегда, ну а я приземлился, а я приземлился, вот какая беда!» Ну и, конечно, это проза о любви. Ведь герои этой книги были молоды. Это вечная тема.

ISBN 978-5-532-03786-1

© Карасёв И., 2020

© Автор, 2020

Содержание

МАЙСКИЕ СНЫ ПОД ЛИПАМИ САКСОНИИ	5
Конец ознакомительного фрагмента.	24

Иван Карасёв

Жизнь одна

МАЙСКИЕ СНЫ ПОД ЛИПАМИ САКСОНИИ

– Петька, Петька, воды принеси!

...

– Ну воды принеси!

...

– Петька!

Наконец он понял, что проснулся окончательно. Уже не раз и не два он выкарабкивался из мутного царства сновидений, которые тут же забывал. Но вот этот сон, если уж приходил, всегда выводил его из утренней полудрёмы, когда то просыпаешься, то снова забываешься в другой, придуманной, но такой осязаемой реальности. Вот и сейчас веки разлепились, и утренний свет, давно заливавший всю комнату, накрыл и его.

Давным-давно, в другой жизни, его долго будила мать, требуя наносить воды. Отца уже не было, он стал старшим мужчиной в доме, хотя усы ещё даже не пытались нарисоваться над верхней губой. Мать прервала его сон на самом интересном месте, он уже не помнил на каком, но с тех пор эти слова матери часто возвращались в его затуманенное Морфеем сознание и пробуждали полностью.

Сегодня тоже он так сладко спал на буржуйских перинах в брошенном немецком «хаусе» немного на отшибе небольшой деревни, в распахнутое окно пыталась ворваться покачиваемая лёгким ветерком ветка липы, её нежно-зелёные листики источали неповторимый аромат свежести новой весенней жизни. И никуда не нужно было спешить, бежать, исполнять: никто его не вызывал, никто не требовал срочно занять позиции, никто не гнал в атаку на очередную высоту. Но снова вернулся этот старый сон и опять напомнил ему, что жизнь идёт дальше, своим чередом, и его черёд в ней – рота из тридцати восьми оставшихся в строю бойцов, для которых вроде как всё закончилось, а вроде и нет. Все они очень разные: совсем молодые и постарше, добрые и злые, щедрые и скупые, смелые и не совсем. Но все они прошли с ним, командиром, сквозь огонь, все теряли товарищей, и все очень хотели жить, особенно сейчас.

Матери он уже не увидит, не дождалась она сына с войны, слегла зимой и отдала Богу душу, от чего никто не знал, врачей в районе осталось мало, а сорокавосемилетней деревенской бабе, натрудившейся в своей жизни до затвердевших как камень ладоней, уже и умереть не грех. Младшая сестра, не успевшая выскочить замуж до войны, так и написала: «Мамка сама сказала, не надо врача, всё одно помру!» Теперь сеструхе одной тянуть на себе хозяйство, старшая вряд ли поможет, она без мужа, сгинувшего где-то в сорок первом, ей вдвоём со свежескоровью ребятишек годовать.

Родных он в последний раз навещал совсем давно, казалось, сто лет назад. После двух лет службы по призыву его отпустили на побывку. Это было за год до войны, кое-что стало забываться. Недавно поймал себя на том, что не мог вспомнить как звали мать его приятеля и дружка с края деревни. Они жили особняком ото всех, за их домом – поле и лес, куда бегали играть в красных и белых.

Он усмехнулся про себя: «В красных и белых... Наверное, теперь дети играют в наших и немцев и долго ещё будут». Самой войне порой казалось конца не будет, а вот же, всё, всё! А тогда, в последних числах января сорок второго, когда их, военных железнодорожников, умевших забивать костыли, но не очень хорошо знакомых с собственным оружием и совсем не представлявших как атаковать засеженного в хорошо укрепленных позициях противника, бро-

силы под немецкие пули в заснеженных полях подо Ржевом, тогда даже представить себе было невозможно, что она, война эта, когда-нибудь закончится.

Пулемётные очереди и винтовочные выстрелы оборонявшихся выкашивали их десятками, они пластались на перерытом разрывами снарядов снегу и ждали, ждали, когда можно будет отползти назад. Командиры напрасно размахивали «наганами», стоило кому-то встать, как ему сразу же доставалась порция немецкого свинца. Две первых атаки были самыми страшными, полбригады полегло. Потом начальство что-то поняло, что-то переменяло в том, что называется умным словом тактика, и они даже взяли несколько деревень, даже Волгу по льду форсировали и... начали умирать. Сначала, конечно, голодать: в конце марта река вскрылась – ледоход, и подвоз прекратился. Жрали всё – корни, кору деревьев, сшибленная метким выстрелом галка считалась чудным деликатесом.

Лёд шёл долго, мучительно долго, дней десять. Кончились патроны, пару атак немцев отбили штыками, пока ещё сил хватало. Немцы плюнули, видать, решили, что русские сами подохнут. Включили патефон с «Катюшей» и через репродуктор обещали каждому, кто перебежит, по банке тушёнки. Некоторые не выдерживали. Он не пошёл, не поверил, хоть и расписывал усиленный голос его бывшего товарища Сеньки Заводского все прелести жизни в плену. Наконец, наладили переправу, но лодок не было, только патроны да сухари иногда доставляли на плотках, которые немцы топили без счёта, и голодуха продолжалась. Ему повезло, в начале апреля зацепило осколком миномётной мины, а плотик, на котором эвакуировали, не потопил немецкий снаряд: стоял густой туман и никакие ракеты не помогали немцам устроить иллюминацию над рекой, фашисты лупили вслепую и без толку.

Потом полгода его, раненого, оголодавшего доходягу, выхаживали в госпитале в городе Ковров, а после лечения отправили в училище. «Семь классов есть, срочную отслужил, повоёвал, значит боевой опыт имеется!» – сказал председатель комиссии и подмахнул резолюцию «Направить на учёбу в пехотное училище». Петька ухмыльнулся, когда услышал вердикт, тоже мне, нашли боевой опыт, но от учёбы отказываться не стал, шесть месяцев ещё грыз гранит военной науки попеременно с разгрузкой угля и заготовками дров.

И теперь он не Петька, и не рядовой красноармеец, а старший лейтенант Каблуков. Командир третьей роты. И за плечами у него – Курская дуга, Днепр, Польша и три ранения. И всё, больше не будет. Уже три дня без войны. И четвёртый раз подряд он просыпается на этих белоснежных простынях, затягиваясь первой утренней сигаркой прямо в кровати с резным изголовьем. Даже в госпитале, где в последний раз спал на чистом белье, смолить разрешалось только в курилке. А тут – благодать, блаженство.

Он потянулся лёжа, ничто в нутре кровати не скрипнуло – «умеют, черти жить с комфортом!» Каблуков в конце концов встал («хватит валяться!»), пригладил свои жиденькие, бесцветно-блёклые волосёнки и распахнул окно. По небу, которое с окончанием войны стало ещё голубее, обретая какой-то забытый в пороховом дыму цвет, плыли редкие облака, на развесистой ольхе, метрах в двадцати впереди чирикала птичка, незнакомой Каблукову, выросшему под Новгородом, породы. Идиллия. Даже обычная суета внизу, во дворе, нисколько не портила её, а, наоборот, дополняла своей деревенской повседневностью: кто возился с чайником, кто стирал кальсоны, кто растирал грудь холодной водой из колодца, а совсем молодой солдатик из прибывших перед последним наступлением крутил ручку диковинной немецкой сушилки для белья. Полроты квартировало в этой усадьбе, места в доме хватало: шесть комнат, не считая кухни. Некоторые всё же по весенней погоде предпочли сеновал – не привыкли спать в настоящих хоромах с толстыми каменными стенами, душно, говорили. Командиру выделили хозяйскую комнату с большим супружеским ложем. «Мы тебе, лейтенант, ещё и бабу найдём, – сказал заправлявший всем ротным хозяйством старшина, – так что будешь тут как барин барствовать!» Вторая половина подразделения устроилась в паре километров

примерно, в соседней деревне. Им дали этот сектор и велели контролировать территорию – ещё немало вооружённых немцев шаталось по лесам.

Со своей ротой Каблуков был с июля, прошёл от украинского Луцка до Саксонии, сначала взводным, потом, когда тяжёло ранило прежнего командира, Каблукова назначили комроты. За это время пару раз поменялся состав: кого убило, кого ранило. Особенно много потеряли в августе на плацдарме за Вислой, потом – при прорыве немецкой обороны в январе и в апреле, уже на Одере, под Форстом. Но костяк роты оставался, «старичков» пули облетали, первыми погибали совсем молодые, восемнадцатилетние, а иным и того меньше было. По всему чувствовалось, что в деревнях далёкой России выметали по сусекам, силы страны на пределе, вовремя Победа пришла.

– Товарищ старший лейтенант, чай! – Это его новый ординарец, Василёк, невысокого роста разбитной паренёк из калужской Тарусы, без стука вошёл в комнату, от манер солдаты за годы войны отучились, даже если знали их раньше. Каблуков кивнул, мол, давай. Прежний ординарец, Петренко, чая никогда не приносил, угрюмый был такой, всё время только «угу», «сичас», но Каблукова это не смущало, не до того было, и когда во втором эшелоне стояли тоже от ординарца много не требовал. Каблуков всегда ел из общего котла и не гнушался сухарём из солдатского кармана. Немецкий снайпер под Зоммерфельдом влупил Петренко прямо в висок девять граммов рейнского металла. Наверное, перепутал с ротным, они вдвоём шли – командир и ординарец, невысокий, в заляпанном грязью мундире, Каблуков и могучий, широкоплечий Петренко в офицерской фуражке – это была его слабость. За неё и поплатился.

Из фаянсовой чашечки на блюдце клубочками вываливал пар. Василёк услужливо поставил принесённое на прикроватную тумбочку, положил рядом два куска рафинада, серебряную ложечку и молча удалился.

«И точно барствую, прав был старшина, а может, так и должно быть, мы ж заслужили, Василёк вон тоже, небось дрых всю ночь на бауэрских перинах».

Не торопясь, это уже стало приятной привычкой в последнее время, Каблуков выпил чай из чашки с какими-то полуголыми тётками и ангелочками, оделся и спустился вниз: командирские обязанности всё же никто не отменял.

Уставные порядки фронтовики когда-то учили, но давно забыли. Никто не вытягивался в струнку при виде ротного, не отдавал честь, обычно ограничивались лишь коротким «Здравия желаю» или его эвфемизмом: «Как спалось, товарищ лейтенант». Полное звание командира мало кто считал нужным произносить. Но Каблуков не обижался, давно привык, в бою каждое лишнее слово может стать последним.

– Лизунов, кто в карауле сейчас?

Сержант Лизунов здесь был его негласным замом по строевой.

– Да никто, товарищ старший лейтенант, – словно для оправдания выговаривая полный чин командира, признался Лизунов, – поглядываем помаленьку. Нет никого.

– Совсем распустились, мать вашу, быстро назначить караульных!

– Есть, товарищ лейтенант! – гаркнул сержант, и уже совсем спокойным, размеренным тоном. – Назначим, не волнуйся, лейтенант, начальство далеко, и оно гуляет.

Что у комбата которые сутки шла пьянка с вином из фольварка, о том знали все.

Лизунов был одним из старожилов роты, чуть ли не от Днепра топал он в ней солдатскими дорогами. Дважды был ранен, но оба раза дальше медсанбата не попадал и возвращался в ставшее почти родным «хозяйство».

У него была масса недостатков. К примеру, он любил не зло поизмываться над ротными новичками, бывало скажет с напускной серьёзностью такому чумазому паренёку двадцать шестого года рождения, окопнику первого дня: «А ты чего это воротничок не подшил?» А у того и так крыша едет, он за последние двадцать четыре часа жизнь заново узнал и умирал пару раз, вот и начинает судорожно вспоминать куда он свой позавчерашний воротничок

подевал. А Лизунов пострашает того минут пять, а потом хлопнет по плечу: «Да ладно, шутю я, шутю!». Ещё сержант отличался склонностью к выпивке и не раз товарищи приводили его в расположение в бесчувственном состоянии, лежал на чужих руках Лизунов и не соображал ни грамма. К тому же был слаб на женский пол – невзрачный и маленького росточка, ушастый и с оспинами на скуластой физиономии он готов был волочиться за любой регулировщицей или связисткой, и, самое удивительное, те порой (когда обстоятельства позволяли) отвечали ему взаимностью.

Зато в марте он спас свой взвод, дав ему возможность отойти. Оттолкнул растерявшегося под градом пуль первого номера «Дегтяря» и сам залёг за пулемёт. Крикнул неопытному взводному, чтоб уводил людей, и, расстреляв два диска, дал остальным возможность отойти. Как он сам спасся, никому не рассказывал, добрался до своих только ночью, без пулемёта и с посечённым мелкими осколками кирпича лицом. В санвзводе потом больше часа чистили и дезинфицировали мелкие ранки.

И ещё Лизунов умел быть благодарным человеком. Как-то в первых числах мая он вдруг ни с того, ни с сего преподнёс старшине женские серёжки, золотые, с пробой. Буркнув: «Возьми, жене подарить, в пустом доме на соседней улице нашёл, забыли, видать, впопыхах». Удивлённый старшина смотрел то на сержанта, то на серёжки, не понимая за что это ему такой респект случился, но отказываться не стал, не в его привычке было отказываться: «Дают – бери, бьют – беги!» – любил повторять. И то, и другое делал регулярно, смелостью не отличался, старался при первой же возможности унести ноги с передовой, накормит роту, и поминай как звали: «Я на продсклад!» Наверное, с минуту старшина переводил взгляд с серёжек на словно язык проглотившего Лизунова, и, наконец, дошло: «А-а, ты за тот случай, так я уже и забыл. Ну ладно, спасибо, – и протянул руку для рукопожатия, – Маня моя будет довольна, у неё в жизнь таких побрякушек не было!»

История та случилась ещё в Силезии, в Зоммерфельде, и едва не кончилась для Лизунова, мягко говоря, печально. Однажды утром в расположение роты пришла молодая, лет двадцати пяти, немка и, тыкая пальцем в сторону Лизунова, начала что-то кричать. Командир второго взвода перевёл:

– Говорит, он её изнасиловал сегодня ночью.

Каблуков оторопел, только недавно был зачитан приказ маршала Конева, командующего фронтом, где за подобные штучки обещали расстрел. Он отвёл в сторону Лизунова и спросил

– Было это?

– А чё, я один что ли? Вон в первой роте троих поймали и ничего! – Лизунов как будто ненароком пригладил рукой награды на левой стороне груди.

– Это когда было то! Ты где был позавчера, когда приказ маршала читали?

– Какой приказ, лейтенант? Меня же тогда со старшиной на вещевого склад посылали.

– Ты что дурак, Лизунов? Нашёл время, тебя же расстреляют теперь! Кого-то уже прямо перед строем согласно приказа шлёпнули! Ты чем думал, каким местом, олух ты царя небесного? У тебя голова-то где была, между ног?

Лизунов побледнел как смерть и замолчал, изучая носки своих сапог.

Тут вмешался старшина роты:

– погоди, лейтенант, дай я с ней поговорю.

И старшина, рязанский колхозный бригадир, знавший по-немецки только «Гитлер капут» и «хэнде хох», быстро разрулил конфликт. Он помахал перед носом у оголодавшей немки буханкой хлеба, чётко проговаривая каждое слово, сказал: «Ну давай, я тебе буханку, а ты больше никому не скажешь» и выразительным жестом приставил указательный палец правой руки к губам. Жертва Лизунова быстро сообразила в чём дело и, взяв хлеб, ушла с ним подмышкой, довольная. В роте тогда ещё воевало шестьдесят человек и наскрести с миру по нитке на буханку старшине не составляло никакого труда, он это умел и иногда даже употреблял для

общего блага. Когда всё закончилось, Лизунов дал волю чувствам и, отвернувшись, смахнул несколько слезинок с глаз.

На следующий день немка пришла опять и знаками дала понять, что не против заработать ещё хлеба. У старшины нашлась прибережённая «чернушка». Потом видели, как он возвращался с немкой из разбитого дома с черепичной крышей. Через несколько часов она появилась в третий раз, но Каблуков демонстративно расстегнул кобуру, вытащил свой ТТ и помахал у неё перед носом:

– Видала, вот твоя буханка!

Она всё поняла, а комвзвода-2, интеллигентный юноша из Москвы с раскосыми, татарскими глазами, слегка попрекнул Каблукова:

– Зачем Вы так, товарищ старший лейтенант, у неё двое детей дома, а кормить нечем.

Каблуков только недоумённо посмотрел на своего подчинённого, совсем не ожидал от него такой жалостной прыти:

– А наших баб кто кормить будет? Ты что ли? Есениным? – Все знали, что в офицерской планшетке младший лейтенант таскал сборник стихов Сергея Есенина и в свободные минуты любил побыть наедине с книжкой.

Тот ничего не ответил, баб у него в жизни ещё не было, и не судьба была их познать: через три дня накормил его досьята свинцовой кашей немецкий пулемётчик.

Лизунова же исправить можно было как горбатого, только могилкой, недели две после того происшествия сидел тише воды, ниже травы, а потом опять взялся за своё, только опыт учёл. Запасался едой в оставленных деревенских домах, где в погребах попадались целые круги колбасы да шматы шпика, и потом предлагал оголодавшим немкам в городах побольше за проявление взаимности. Наверное, были такие, кто отказывал, но Лизунова отличало упорство, он знал своё дело и немецких баб любил без меры. Говорил: «Ну они такие все нежные, столько могут в постели, лейтенант, не то, что наши, не просто ноги раздвигают!» Каблуков слушал и ничего не говорил в ответ, у него в самом первом госпитале осталась зазноба, приковавшая его к себе телесной страстью, но вот уже полгода, как она молчала, не отвечала на письма. Наверное, подцепила кого званием постарше.

А вот Лизунов не отличался постоянством, у него всегда самой лучшей была сегодняшняя, та, что позволяла успешно завершиться свободной охотой. Он ещё умудрялся организовывать свои экспедиции так, что Каблуков не замечал его отсутствия, а, если случалось попасться, то всем своим видом показывал, что осознаёт и исправится. Но и он сам, и Каблуков знали какой вариант исправления имелся у сержанта, посему ротный ставил внеочередным дежурным по роте да ограничивался только ненужными назиданиями: «Смотри, подцепишь триппер рано или поздно!» Только комбат, знавший про похождения Лизунова, однажды строго выговорил ему:

– Увижу ещё раз – пойдёшь под суд!

– За что, товарищ майор, она же добровольно! – кивнул он в сторону стоявшей рядом и глупо улыбавшейся, так и не понявшей ничего, очередной «Гретхен».

– А вот там и узнаешь за что! – рубанул майор и добавил: – Чтоб духу её здесь больше не было!

Лизунов послушно ответил:

– Есть! Разрешите идти?

И, получив разрешение, крутнулся на каблуках и исчез, бормоча себе под нос: «Вот же жидовская натура, боевого сержанта так, прилюдно, небось, просто завидно ему, потомуку местечкового портного, что красивые, ногастые немки не ему, а мне, дают!»

Но с тех пор Лизунов обдeldывал свои делишки так, чтоб никто не мог стукнуть комбату и, выслушивая очередной выговор ротного, стоял понурился голову, мол, прости, лейтенант, больше не повторится, а комбату вообще старался на глаза не попадаться.

Вот опять Лизунов, виновато опустив голову, получал нахлобучку от своего старшего лейтенанта. Тот, напомнил, что, кроме веселившегося начальства, есть ещё и немцы, вооружённые, слоняющиеся по округе, и закончил кратко:

– Исполнять!

– Есть исполнять, товарищ старший лейтенант!

Лизунов сообразил, что окопному панибратству не место тут и резво принялся за организацию охраны расположения роты. Вслед ему, понимающе переглянувшись, негромко посмеялись двое неразлучных земляков из Тулы: «Добрался ротный до Лизуна, пусть пошуршит теперь по службе, а то всё карты да всякие афёрки со старшиной выстраивает».

– Хайнц!

...

– Хайнц!

– Аанналяйн! – потягиваясь в своём импровизированном шалашике, протянул Хайнц, он никак не мог разодрать глаза. Уж слишком хорош был сон: прямо в блиндаже на Одере, меньше, чем в километре от русских, не с того ни с сего появилась Анналяйн и совершенно не стесняясь товарищей Хайнца, быстро сбросила с себя сиреневое платьице, кружевную комбинацию и всё остальное да прыгнула к своему дорогому Хайнцу.

– Хайнц! Хайнц! – голос Анналяйн звучал не так, как обычно, а несколько грубовато, как будто она курила сто лет. Хайнц окончательно проснулся и с горечью убедился, что никакой Анналяйн рядом не было. Зато поблизости опять раздался всё тот же прокуренный голос:

– Ханшин! Ох, Ханшин!

Хайнц осторожно раздвинул зашелестевшие ветки и сразу отпрянул: метров в двадцати, за старой, кряжистой липой, какая-то мужиковатая, толстая баба в русской форме жадно впиалась губами в лицо молоденького ещё безусого солдатика. Она его зацеловывала, как только могла, от лба до шеи, от щеки до щеки, не забывая присосаться к удивлённо открытым устам своего избранника. Тот и не упирался, и не торопился дать ход событиям. По всему было видно, что он колеблется, знать не так он представлял себе первое романтическое свидание.

Сон как рукой сняло. «Только бы она не надумала тащить его в шалаш, только не сюда!» – стучало в голове у Хайнца. Толстуха и впрямь, скорей всего, надеялась воспользоваться временным убежищем Хайнца, но не получилось. Юнец, весь извиваясь, как змея, ухитрился вырваться из её жарких объятий, как-то испуганно огляделся по сторонам, что-то резко сказал по-русски, партнёрша вяло возразила, однако момент был упущен категорически и несостоявшаяся парочка зашагала в другую сторону. «Звери и вправду звери, – подумал Хайнц, – у них всё не как у людей, эта корова ему в матери годится, а хочет в постель затащить».

Потом бабища ещё несколько раз пыталась приложиться всем своим массивным телом к солдатику и иногда ей удавалось опять вцепиться в его губы, однако это было лишь красивой иллюстрацией полного фиаско её намерений.

Обер-ефрейтор Хайнц Шмидт уже семнадцать дней шёл из-под Пренцлау на юго-запад, в родной городок Фульда на одноимённой реке. Двадцать шестого апреля, его отступавший полк, здорово потрёпанный на западном берегу Одера, настигли русские танки, эти страшные Т-34 с длинными хоботами стволов. Они размазали полковую колонну как растаявшее сливочное масло по засохшему хлебу. Ни одна пушка развернуться не успела, ни один фаустпатрон, которых у них почти не оставалось, выстрелить не успел. Танки напали неожиданно, из-за угла, как уличные разбойники в старых романах. Они явно знали, что к перекрёстку за Ценебекским лесом движутся на запад немцы, авиаразведка у русских была хорошо поставлена. Самыми первыми под их гусеницы попали повозки полковых санитаров с ранеными, затем штаб во главе с командиром оберст-лейтенантом Химмелем – штабные машины Химмель держал в составе колонны, чтобы не отрываться от подчинённых. Потом танки, шедшие уступом,

стали накручивать на гусеницы мясо остатков полка. Вид кусков человеческой плоти на них мог бы свести с ума любого, но тут было не до сумасшествия, каждый думал только о том, как спастись, и судьба людей, с которыми ещё вчера делился кров и хлеб, никого не трогала. Обычный, животный страх овладел всей этой человеческой массой, что ещё несколько минут назад считалась боевой единицей, отважно дралась с русскими под Кёнигсбергом и на Одере и называлась 326 пехотным полком. Несколько смельчаков пытались поймать стальные громадины в прицел фаустпатрона, но их тут же скашивала пулемётная очередь. Только задняя часть колонны, в которой вымотанный за четыре дня Хайнц устало шагал с тридцатью выжившими товарищами по роте, успела раствориться в невысоком подлеске. Но и их догоняли пули и рвали на кусочки снаряды.

Однако Хайнцу повезло, в который раз повезло, и он для себя твёрдо решил, что в последний, не может ведь везти бесконечно. И поэтому он шёл очень осторожно – только ночью и желательно лесами, за эти семнадцать дней он продвинулся по прямой лишь километров на двести, несколько раз слышал русскую речь, замирая в тревожном ожидании, прижимался к земле, срастаясь с ней. Ему опять везло: ничего не подозревавшие советские солдаты проходили мимо. Они обычно весело балагурили и не очень-то смотрели по сторонам. По всему чувствовалось – война для них кончилась. На одном хуторе, куда Хайнц зашёл попросить еды, ему сказали, что русские и американцы с англичанами соединились на Эльбе, а берлинский гарнизон капитулировал. Германии больше не существовало. Остались лишь зоны оккупации – русская, американская с английской и даже французы где-то пристроились. И теперь он хотел попасть домой, за Эльбу, в городок Фульда, к своей невесте Анналяйн, милой, розовощёкой и кудрявой Анналяйн. Хотел снова гладить её соломенного цвета волосы и ощущать тепло мягкого тела. Мысли о матери к Хайнцу почти никогда не приходили, у неё был второй муж, заменивший умершего от туберкулёза отца, и двое детей от нового супруга. Мать жила своей жизнью, ей было не до Хайнца. Только воспоминания о милой Анналяйн согревали его уставшую и одревеневшую от пережитого душу. Только ей он жил. А вокруг были одни русские, эти большевистские звери, которым только попадись, и они сразу упекут тебя в Сибирь, в лютые холода, где их каторжники валят лес идохнут, как мухи.

В том, что русские – звери, Хайнц убедился, когда их полк, прорвавшийся из Нормандии через всю Францию в Эльзас, перебросили в Восточную Пруссию. Во Франции тоже было не сладко, особенно в нормандской мясорубке, там самолёты союзников не давали поднять голову, а американские «Шерманы» безжалостно расстреливали их позиции с безопасного для себя расстояния. Потом на отступавшие колонны нападали из-за угла французы: невесть откуда взявшиеся подпольщики-макизары и даже подонки-полицейские, ещё вчера безропотно, как принято у холуёв, выполнявшие приказы немецких хозяев. Их почти невозможно было поймать, немцев подкарауливали во время их ночных маршей – днём не позволяли двигаться безраздельные хозяева неба – крылатые машины с белой звездой в синем круге и такой же белой полоской.

Однако теперь, после увиденного на Восточном фронте, ужас и кровь тяжёлых переходов по Франции, казались ему обычными боевыми буднями с неизбежной данью Молоху в виде человеческих жизней. Он и раньше знал, что большевики нелюди, но после зимнего отступления в сторону Пиллау, когда они вместе с беженцами шли по дороге, окружённой по краям сметённым и застывшим после оттепели почти до состояния стекла, снегом, он твёрдо усвоил – хуже, чем большевики никого быть не может. Люди брели на морозе в жуткой тесноте, валились друг на друга и поднимались, но не всегда, захлёбывались в своей и чужой крови. А с неба на их головы скидывали свой смертоносный груз краснозвёзды самолёты. Потом они, истратив весь боезапас по беззащитным человечкам, начали рубить им головы винтами. От охватившего всех ужаса колонна превратилась в толпу, солдаты и беженцы перемешались, все пытались покинуть этот жуткий, неопиcуемый ад, отталкивая друг друга, лезли на остекле-

невшие сугробы, падали, снова лезли. Кричали женщины, вопили дети, дико орали от страха забывшие свой долг мужчины. Кому-то повезло оказаться внизу, под чужими телами, кому-то удалось выкарабкаться из этого ада через снежные завалы. Зимняя, грязно-белая дорога стала красной, а русские Ил-2 «Der schwarz Tod», «Чёрная смерть» никак не унимались. Они снижались невероятно низко, и их длинные пропеллеры становились красными от крови. Самолёты улетели лишь когда стрелки датчиков горючего стали упрямо клониться к нулю. Тракт этот сразу окрестили дорогой смерти, с него ночью увезли несколько сотен трупов, чуть ли не тысячу, а на следующий день двух сбитых русских лётчиков оберст-лейтенант застрелил лично. Один из них, молодой, наверное, восемнадцатилетний пацан со слезами на глазах умолял о пощаде, даже смог по-немецки что-то сказать о Женевской конвенции, но командир полка был твёрд в своём решении и всадил по пуле в затылок каждому, приговаривая: «Сталину своему с того света напишешь про конвенцию!».

Оберст-лейтенант остался там, на поле за Ценебекским лесом, русский механик-водитель специально повернул машину левее, чтобы переехать получившее три пули из пулемёта ДТ тело немца в форме подполковника без слетевшей с головы фуражки. Кишки командира полка намотались на замызганные кровью и обляпанные кусками человечины гусеницы Т-34 с бортовым номером 109 и замысловатым ромбиком с чёрточками.

А Хайнц шёл, упорно шёл к своей цели – домику из красного кирпича в одноэтажном городке Фульда. Он не знал, что Анналяйн не получила его последнее письмо, затерявшееся в военной кутерьме, и считала своего жениха погибшим или попавшим в русский плен, что для неё было понятиями равносильными. Посему миловидная блондинка со внушительными «буферами», сводившими с ума Хайнца, начала упорно строить глазки американскому сержанту из расположившегося в их квартале взвода военной полиции. Джереми Хопкинкс намерения симпатичной немочки раскусил быстро и уже четыре ночи как отдыхал в её жарких объятиях на сеновале за курятником папаши Курта – престарелого отца миленькой Энн, как она стала себя называть. Хайнц этого не знал и всеми фибрами души стремился к своей Анналяйн, шёл, порой еле волоча от усталости ноги, шёл, продираясь сквозь заросли, переплывал неширокие речки, работая одной правой рукой, левая держала над головой одежду, завязанную в узелок на кончике длинной палки. Он согревал себя мыслями о предстоящей встрече с любимой, шёл, шарахаясь от каждого звука, в каждом кустике видя подвох. Он шёл к ней, а она уже мысленно переехала со своим Джереми в далёкую и счастливую Пенсильванию. Правда бедная Аннхен не знала, что у Джереми в том прекрасном штате имелась дородная женушка и двое детей – обручальное кольцо Джереми, как только оказался на европейском континенте, в Нормандии, предусмотрительно спрятал на дно левого напузного патронника – туда никто, кроме него лапу не запускать.

Невезучая Аннхен про семейное положение любовника ничего не ведала, а потому продолжала добиваться своей цели – жить в этой «вонючей стране» она не хотела, то ли дело – американские Штаты, там всё, там жизнь, достойная и зажиточная, там нет никаких фюреров, там нет войны, нет бомб, там будет её добрый Джереми, и вечное процветание. Добрый Джереми подкармливал Энн настоящим шоколадом – она его не видела уже лет пять, а когда-то безумно любила, обожала эти коричневые плитки – и давал ей помечтать о совместной жизни за океаном. Правда, порой он ловил себя на мысли, что и сам уже вполне представляет себя в родной Америке вместе с милашкой Энн, но стоило ему лишь вспомнить маленькое, смеющееся личико его шестилетней теперь Лиззи, как те наивные мысли покидали трезвое, очень рационально устроенное сознание американского сержанта.

Аннхен стремилась в Америку, а Хайнц – к ней, в родную Фульду, и ничто его пока не останавливало на этом трудном пути. Однажды он даже чуть не прирезал ничего не подозревавшего русского ефрейтора, отошедшего по нужде. Но русского судьба хранила, он остановился в двух метрах от замершего в траве Хайнца и тот, сжав зубы, дабы сдержать клокотавшую

в нём злость только наблюдал за дугообразной жёлтой струёй. Конечно, ему опять повезло, не накликал на себя беду, и по окончании действия, дождавшись ухода русских, рванул со всех ног с проклятого места. Хайнц шёл, ему надо было ещё преодолеть больше двухсот трудных километров, голодать, обрастать вшами и всякий раз сливаться с травой при виде людей в светло-зелёных пилотках, которые, Хайнц в это искренне верил, только и думали о том, чтобы отправить его, здорового двадцатилетнего немецкого парня, в сибирскую стужу на утеху лагерным вертухаям с раскосыми азиатскими глазами.

Каблуков, начав день, как и положено начальству, с нагоняя, решил ополоснуть тело холодной водой из широкого, каменистого ручья – идея обливаться из колодца с длинной, двухступенчатой ручкой для накачки воды его совсем не прельщала, даже вид этого странного сооружения, скорее похожего на застывшую как памятник стрекозу, никак не ассоциировался с привычными по детству колодезными журавлями. А в быстром ручье вода приятно была своими струями по размолвшему в перине телу, окончательно вышибая из него последние остатки неразбуженной до конца ночной разморенности.

Старший лейтенант вышел через ворота, с удовлетворением отметив наличие подскочившего при его появлении часового, назначенного «сечь» все передвижения по дороге, проходившей метрах в двухстах от усадьбы. «Второго Лизунов, видать, наверх отправил – дело знает, когда хочет».

Разделся до кальсон и, осторожно переступая по мелким камушкам, больно режущим ноги, добрался до своей ванны – так он называл ямку в ручье, позволявшую полностью погрузить его небольшое тело в колотящую маленькими молоточками стремнину. Над ручьём кружили, нет не кружили, а летали резкими зигзагами ласточки. Красота, блаженство минут на пять. Лет через пятьдесят, уже старый и больной, Каблуков услышит слово «джакузи» и вспомнит свои утренние ванны в холодном ручье где-то между Виттенбергом и Торгау, хотя принимал он их не только там.

Рядом с родной деревней Пети Каблукова старый каменный мост на боровичском большаке зажимал узкую речушку так, что в начале лета, пока ещё не полностью ушли весенние разливы, вода вырывалась из-под него с бешеной скоростью. И Петька любил, хватаясь за торчавшие из бурунов камни и отталкиваясь от них, добираться до самой быстрины да лежать там между двумя валунами под сумасшедшим напором речной стихии. Не по-летнему студёная вода яростно била его лицо, плечи и руки и в конце концов выталкивала Петьку назад. Он возвращался, цеплялся за камни, а вода снова срывала его с места, выгоняя из своего необузданного царства силы. И так пока у Петьки не начинали стучать зубы от холода. Каждый год основание моста теряло несколько камней, а когда Пете Каблукову стукнуло пятнадцать, весенний паводок окончательно смёл Петькино развлечение. Вместо него построили широкую деревянную конструкцию, под которой уже не бурлил бурный поток.

В этот раз пасторальные купания Каблукова тоже не удались, они были нарушены тревожными криками караульного:

- Товарищ старший лейтенант, товарищ старший лейтенант!
- Ну что, – недовольно поморщившись, – протянул Каблуков.
- Комбат едет, сейчас к нам завернёт!
- Ты уверен?
- У меня ж бинокль, а у кого тут ещё найдётся «Виллис» с белой звездой?

При встрече на Эльбе с американцами, о которой потом все газеты раструбили, майор Выгоревский, уже будучи под хорошим шофе, сначала присмотрел у американского майора, тоже, как и Выгоревский, командира батальона, абсолютно свежий или просто хорошо сохранившийся «Willys GP», а потом и выменял на свой, такой же, но выдавший виды и раздолбаный. Дельце это он представил в качестве знака дружбы, просто сказал по-русски американцу:

«Давай ты – мне, я – тебе, русский и американец – друзья навеки!» и добавил несколько раз по-немецки: «Du bist mein Freund! Du bist mein besser Freund!» Заокеанский коллега долго не понимал, чего от него хотят. Тогда Выгоревский сначала постучал по металлу своей машины, потом – по американской, подвёл майора с большими серебряными лепестками на погонах к своему драндулету и добавил по-немецки: «Für Dich!» Простодушный и хорошо датый по случаю промежуточной победы американец наконец понял и радостно согласился, похлопал Выгоревского по плечу, пробасил: «Yea, friend!» и отдал ключи этому огромному русскому майору. Напрасно отговаривал своего начальника негр-водитель, напрасно отчаянно тыкал пальцем в разбитые фары русского виллиса и хлопал по помятой бочине. Ничего не помогло. Выгоревский, был не меньше пьяным, но он всегда себя контролировал, даже в тот день после самого первого обмена – трофейного шнапса на шотландский виски, соответственно довольно «тяжёлого» по потреблённым на радости градусам. Поэтому русский майор о гешефте не забывал, голос крови всё же, и праздновал очередную победу своего избранного народа над наивными «янки».

– Да, видать он, – недовольно пробурчал Каблуков – придётся вылезать из такого бодрящего ложа, – и чего его нелёгкая принесла, неужели вино у них кончилось?

Каблуков резво выскочил из воды, скинул под куст мокрые кальсоны, торопливо вытерся хозяйским махровым полотенцем и натянул галифе. Перевёл дух и спросил у постового:

– А каска американская на нём?

– Она, товарищ старший лейтенант! И без гимнастёрки, в одной нижней рубахе.

– Ну тогда дело – швах (это еврейское словечко он слышал в украинских местечках, очищенных немцами от потомков Моисея)! И тихонько, себе под нос:

– Он, едрёна корень, ещё, видать, совсем косою, – потом громче добавил, – Лизунова предупреди, чтоб не высывался.

Эту каску с заводской, а не самодельной, как у немцев бывало, сеткой Выгоревский выменял у другого американца, сержанта-артиллериста, готового Родину продать ради дружбы с важным, внушительного телосложения и роста, русским майором (Выгоревский сразу понял, что заокеанские союзники вполне понимают немецкое слово «Freund» и нещадно его эксплуатировал). Теперь комбат любил покрасоваться в красивой и удобной американской каске, когда не рисковал попасться на глаза строгому до придирчивости комдиву, потому что комполка такие лёгкие шалости боевому офицеру прощал.

Тем временем виллис с союзными номерными знаками свернул с трассы и покатил к усадьбе по узенькому, в одну машину, асфальту. Выгоревский вёл быстро и уверенно, как будто совсем и не пил три дня. Он не стал въезжать в ворота, а свернул с дороги и лихо затормозил прямо перед носом слегка напрягшегося Каблукова. Тот только-только успел замотать портянки и сунуть ноги в сапоги. Можно сказать, к встрече начальства готов, почти готов – гимнастёрка с ремнём остались в траве рядом с мокрыми кальсонами. Но зато они были с комбатом на одной, так сказать, волне – в белоснежных нижних рубахах, на которых погоны отсутствовали по определению. Почти как в бане, там все равны.

Комбат не спеша покинул машину и явился взору невысокого Каблукова во всю свою статью. Рослый, сильный – мускулы играют под рубахой, с большими зальсынами между вьющимися волосами смоляного окраса с редкой проседью на висках и длинным, крючковатым носом, при практически полном отсутствии переносицы между чёрными навывкате глазами Выгоревский не оставлял никаких сомнений насчёт своей национальной принадлежности. Но даже самые заядлые полковые антисемиты уважали его, это был лучший комбат, умный, смелый, порой до бесстрашия, не без слабостей, конечно, на отдыхе, но у кого ж их нет?

– Здорово, Каблуков, – протянул руку комбат, мол, никакой официальщины, – водные процедуры?

– Так точно, Зиновий Ефимыч, – подстраиваясь под тон начальника, миролюбиво, стараясь не выдавать брезгливости, отозвался Каблуков – он терпеть не мог запаха перегара, а от комбата исходили такие ароматы, что невольно хотелось зажать пальцами нос и как можно быстрее покинуть приятное общество непосредственного начальника.

– Всё нормально у вас?

– В порядке, товарищ майор, народ отдыхает, но не расслабляется, если что, мы наготове, но, по-честному, без войны оно лучше.

– Кто б спорил, как говорил мой сосед Мойше Абрамыч! Слушай, лейтенант, выпить хочешь? – Комбату явно надоели свои собутыльники, и он искал новую компанию, вот и прикатил в третью роту на «проверку».

Каблуков сразу представил себе во что выльется безобидное предложение и попробовал отказаться. Ему не хотелось участвовать в затяжной попойке с пьяными дебошами и непредсказуемыми выходками, а по ним Выгоревский был специалист.

В польском городке Лешно, когда ждали пополнение после утомительного и дорогого обещанного броска от Вислы к Одру, подвыпивший комбат, столкнувшись на улице с двумя сержантами с дивизионного продсклада, приказал им чистить трофейной лошади задницу. «Надо содержать животное в чистоте, товарищи сержанты! От него гораздо больше пользы, чем от вас!» – приказал Выгоревский, вглядываясь в растерянные кругленькие физиономии тыловиков. Фронтальная братия недолюбливала складских, считая их (зачастую заслуженно) мелкими воришками. Те долго отнекивались, но комбат-3 был неумолим: «Смотрите она сама не может, немецкие изверги по своему дурацкому орднунгу ей хвост коротко обстригли. Давай, мужики, поработайте! Это приказ!» Для пущей убедительности Выгоревский положил правую руку на застёгнутую кобуру. Продскладовцы такого напора не выдержали и сдались. И под улюлюканье бойцов Выгоревского выполнили приказание. История получила огласку, но комдив замял дело, правда и представление на очередной орден завернул. Батальон первым вышел к Одру, но наградили за это другого комбата.

Поэтому Каблуков, не желая участвовать в следующем приключении Выгоревского, вяло попытался отвертеться:

– Честно говоря не очень, что-то мутит меня сегодня, колбаса какая-то странная вчера была, больно жирная.

– Ерунда, хорошая у них колбаса. Давай, лейтенант, и повод есть. За последние бои многих представили к наградам. В дивизии ничего не похерили, а дальше всё пойдёт как по маслу. Тебе «Отечественная война второй степени» будет. Сам подписывал представление.

Каблуков постарался продемонстрировать безразличие к приятному, но ещё не совсем состоявшемуся событию, однако получилось не очень естественно. Он сразу увидел себя с двумя орденами на правой стороне груди – к Красной звезде добавится новый – и медалькой слева. Выглядело вполне солидно. Выражение удовольствия на его лице не ускользнуло от внимательных глаз комбата.

– Доволен, вот и прекрасно!

– Ну разве что по чуть-чуть.

– По чуть-чуть, – радостно согласился комбат, повернулся к заднему ряду сидений виллиса и откинул промасляную ветошь. Под ней в ячейках аккуратного деревянного ящичка красовалась дюжина бутылок с этикетками на немецком языке, – вон оно, только слабенькое ихнее пойло, не водка, кислятина, много не выпьешь. А шнапса в погребе было на понюшку табаку, наши органы внутреннего сгорания, – Выгоревский хлопнул себя по едва наметившемуся брюшку, – сразу всё выработали. Майор достал один пузырь с надписями «RIESLING MOSEL» и поставил на капот. Вытащил из кармана припасённый заранее штопор, принялся открывать.

– Но по чуть-чуть, Зиновий Ефимыч!

– Кнешно, – недовольно буркнул тот, – тебе закуски надо? А то я так.

– Тоже попробую так, – заедание прозрачной, с капелькой желтизны, жидкости рисковало затянуть мероприятие.

Отказать было нельзя не только потому, что это был комбат. Выгоревского в батальоне уважали и за глаза звали «батей». И не за четыре ордена: чем дальше от передовой, тем, бывало, больше наград красовалось на гимнастёрках героев тыла. Настоящий фронтовик, окопник с почти четырёхлетним стажем, от пуль не прятался в штабе, трижды ранен, всё говорило в пользу комбата, лишь за это он был достоин уважения. Однако солдаты, а точнее, их солдатский телефон рассказывал прежде всего другое: то, как их майор стоял на своём, отказываясь гнать батальон в самоубийственную атаку.

Приехал однажды на передовую вместе с комдивом в дугу пьяный заместитель командира корпуса, нашёл комбата, и началось. Полковник, слетевший с катушек от выпитого, приказывал любой ценой взять никому не нужную высоту, размахивал пистолетом, кричал: «Расстреляю, под трибунал пойдёшь!» Наверное, хотел орден за личное руководство успешной атакой. Комдив, тоже полковник, стоял рядом с каменным лицом, лишь иногда робко предлагая: «А может у комкора спросить, Павел Филимоныч? Связь-то есть». Но распоясавшегося полковника было не унять, он лишь прокричал: «Я здесь комкор! Он мне лично приказал, нет, попросил проверить, почему вы уткнулись в этот паршивый городишко. Мне вы подчиняетесь!» Поняв, что убеждать бесполезно, Выгоревский подошёл к незваному гостю вплотную, перехватил в свои ручки тяжелоатлета, мастера спорта, заряженный «ТТ», который сжимал пьянувший начальник, уткнул пистолет себе в живот и спокойно сказал, глядя полковнику прямо в глаза: «Стреляй! Стреляй сразу, пока живой людей гробить не дам! Только, когда меня порешишь, сам поведёшь батальон в атаку! Замполит в политотделе, а начштаба зубы замучали». Вот тогда пыл смелого за счёт чужих жизней вояки мгновенно иссяк: он весь поник, потупил взгляд, грязно выругался по матери, развернулся и плюхнул своё грузное тело в машину, прошипев: «Я тебе это припомню, ссс-ука, до конца жизни в майорах ходить будешь!» Полковник вместе с молчаливым и немало перетрусившим комдивом укатил прочь. А высоту на окраине силезского городка они обошли той же ночью и утром ворвались в него. Почти без потерь, там немцы их не ждали.

– Ну давай, – выдохнул по привычке Выгоревский, как будто собирался опрокинуть стопку водки, – за Победу! – Стаканы он тоже привёз, вроде как не надеялся их найти в богатом доме бежавшего бауэра.

– За Победу! – Поддержал Каблуков и тоже почему-то выдохнул.

Но выпить они не успели, раздался приглушённый крик часового:

– Немцы! Немцы идут!

– Какие немцы? – недоумённо спросил Выгоревский. – Где ты немцев увидел?

– Да вон они, – солдатик протянул комбату бинокль, другой рукой указывая на опушку леса примерно в километре.

– Точно, Каблуков, немцы, пара сотен, наверное, – комбат отдал бинокль, – а ты говоришь, без войны. Не получается без неё, азохен вей.

Выгоревский залпом выпил вино и гаркнул:

– Рота, приготовиться к бою!

Каблуков не стал опорожнять свой стакан, только подумал: «Перед смертью не напьёшься!» и побежал во двор. Туда же двинулся и майор, не забыв однако прихватить ящик с вином.

Там всё гудело как в улье, Лизунов уже распределял бойцов по местам, кому стрелять из окон, кому с чердака, кому из-за невысокой каменной ограды. Солдаты Каблукова, одетые кто как, один без сапог, другой с голой грудью, почти все без пилоток, хватали винтовки, занимали отведённые им позиции и замирали в ожидании. Война кончилась, все уже успели обра-

доваться, все прочувствовали: «Я выжил, выжил, скоро вернусь!» Ведь они были везунчиками, вся дивизия: в конце апреля их передали в отвоевавший через несколько дней Первый Белорусский, а армия в полном составе, только без них, вместе с тремя другими армиями Первого Украинского повернула на юг, на Прагу, где ещё всю лилась кровь. Почти все уже написали домой, что теперь надо только запастись терпением и ждать своего победителя. Через неделю-другую счастливые матери, жёны, братья и сёстры получают радостные весточки, а отправитель тогда, может, в земле сырой лежать будет.

Ведь силы были не катастрофически равны. На половину обескровленной роты, восемнадцать человек плюс полупьяный комбат, даже не взвод, два отделения неполного состава, двигалось человек двести матёрых, озлобленных поражением солдат мёртвого уже Рейха. Они бродили в окружении никак не меньше недели, а то и две. Им терять нечего – рассчитывали бы сдаться, давно бы нашли способ, крови хотят, зачем? Не насосались ещё?

«Едрёна корень, – прошептал про себя Каблуков, схватив принесённый Васильком ППШ, – а так хорошо всё шло! И на тебе!». По голубому до умопомрачения небу плыли редкие облака, такие неторопливые, затейливой формы, яркие солнечные лучи слепили глаза, с деревьев раздавался птичий гомон, шумел ручей: всё жило своей обычной жизнью. Умиротворяющая, укачивающая, колышащая, как колыбель, картина, если бы не несущие с собой дыхание смерти фигурки в серых мундирах.

Каблуков пристроился вместе с комбатом у окна кухни и, взяв бинокль у узревшего немцев часового, стал рассматривать приближавшегося противника. Немцы шли как-то странно, не растянувшись в несколько цепей, а какой-то непонятной кучей, оружие у многих висело за плечом. «Во дают, нахрапом взять хотят, не выйдет, мы вам сейчас покажем!» Старший лейтенант уже приготовился дать команду «Огонь», хоть и далековато ещё было – в душе теплилась надежда шугануть немцев, пугнуть их, авось и обратно повернут. Но тут он совершенно чётко узрел что-то белое в руках у возглавлявшего отряд офицера в фуражке с высокой тульей. Словно как по команде ещё несколько человек вытащили какие-то белые тряпки и замахали ими.

– Да они сдаваться идут, товарищ майор, гляньте, – Каблуков сунул бинокль комбату и крикнул так, чтоб услышали все, – не стрелять! Не стрелять!

– И точно, – отозвался Выгоревский, – машут белым, всю машут! Я щас с ними пообщаюсь.

– Товарищ майор, может, Лизунова послать? Он столько немецких баб затискал, что немного шпрехать стал.

– Отставить Лизунова, лучше меня в батальоне никто не шпрехает, я этот, ну почти этот, язык с молоком матери в себя впитывал, а бабка так вообще по-русски не говорила.

Семидесятипятилетнюю бабушку майора вместе с матерью, сестрой и её тремя малолетними детьми расстреляли полицаи по приказу немцев. Всех местечковых евреев вывели на бывшее колхозное поле, где ещё пару месяцев назад колосилась пшеница, заставили выкопать себе широкую могилу, раздели, построили в четыре ряда и стали выкашивать как июньскую траву, только не косой, а советским пулемётом «Максим». Первый ряд лёг сразу, четвёртый полицаи добивали винтовочными выстрелами. Потом палачи скинули трупы в яму, собрали одежду и продали за 20 литров самогона и два велосипеда своим винницким товарищам. Те спустили всё, что пошло, на местном базаре. Довольны остались все: и местные, и винницкие.

Только с жены, уходя 23 июня в Красную армию, сумел Выгоревский взять обещание уехать. Она сдержала слово и через две недели, когда услышала орудейную канонаду, покидав наспех кое-какие вещи в новый дерматиновый чемодан, схватила за руку младшую дочь и, крикнув старшей, чтоб не отставала, подалась куда глаза глядят. А глядели они на восток, за Волгу, в город Бугульма, где жила двоюродная сестра. Сначала шли пешком, потом их подвезли на машине, а после дней десять добирались на переполненных беженцами поездах. Так и сама

выжила, и детей спасла. Но Выгоревский до конца сорок второго не знал ничего о них и только на водку налегал, когда всякие мысли в голову приходили. Потом догадался повторно написать сестре жены (первое его письмо затерялось где-то) и успокоился на время.

– Дай-ка мне сухарика погрызть, Каблуков, есть чего-то захотелось. У тебя же всегда в кармане что-нибудь имеется.

«Орёл, – подумал Каблуков, – даже пьяный, всё равно орёл! Всё ему ни почём!»

Каблуков, действительно, с той голодной весны сорок второго любил держать про запас пару сухарей. Он пошуровал в правом кармане галифе и протянул комбату высушенный хлеб.

Выгоревский есть мог при любых обстоятельствах. Даже когда после пяти дней ожесточённых боёв на завислинском плацдарме под городком Аннополь остатки батальона прижали к реке немецкие танки, комбат не спеша наливал себе холодный чай и попросил сухарика у последнего остававшегося в строю взводного. Опешивший лейтенант никак не мог взять в толк, как можно думать о жратве в такую минуту. Шесть бронированных машин в сопровождении реденькой цепи пехоты медленно, но верно приближались к окопавшимся красноармейцам. Соседей справа и слева не было, с ними немцы уже разобрались, сзади – река, пытаться переплыть её под огнём выходивших на берег танков, бесполезно. Через несколько минут их, оставшихся без артиллерии и даже без бесполезных против брони немецких танков ПТРов, должны смять, раздавить или расстрелять. А этот есть собрался.

Немцы тогда даже не открывали огонь, зачем? Снаряды и патроны пригодятся в другом месте. Кто-то молился про себя, кто-то сжал зубы и приготовился к самому страшному, только мысль поднять руки отбрасывали все, они знали – комбат первый всадит такому пулю в спину. А тем временем Выгоревский, отхлебнув чая и куснув сухарик, приказал приготовить противотанковые гранаты и залёг за ручной пулемёт, чтобы отсечь пехоту. Он успел дать первую очередь, мог успеть и вторую, но не больше – три ствола уже поворачивались в его сторону. Выгоревский был опытный вояка и знал, что надо менять позицию, но против шести танковых пушек он и второй стрелявший расчёт были бессильны.

Их спасли внезапно появившиеся Илы. Они вылетели откуда-то сбоку, из-за лесочка и в два захода разобрались с танками, высыпав на них не меньше сотни маленьких, двух с половиной килограммовых противотанковых авиационных бомб. Даже одна такая бомбочка, попав на крышу башни танка, прожигала её тонкую броню и наводила ужас на танкистов. Заряд у неё был слишком маленьким и большой беды сотворить не мог, растворяясь в стальной окалине, если только не врезался вместе с кусочками раскалённого металла в боеукладку или в бак с горючим. Тогда всем, находящимся внутри стальной машины, приходил быстрый и страшный конец. И в тот день две машины загорелись и взорвались сразу, ещё две – после второго захода, две последние бросили экипажи. Но методичные лётчики не удержались и сожгли обездвиженные коробки. За них им давали ордена.

Батальон кричал «Ура» и подбрасывал вверх каски, а Выгоревский как ни в чём не бывало допивал чаёк. Каблукову, раненому ещё в первый день боёв на плацдарме, эту историю рассказал тот самый взводный, у которого комбат выщеганил сухарик.

Вот и сейчас, куснув солдатский деликатес, Выгоревский неторопливо встал во весь рост и двинулся к своей машине. Там, прикрывая полкорпуса американским металлом, выждал несколько минут и по-немецки, сложив ладони как рупор, прокричал:

– Deutsche Soldaten! Lassen Sie Ihre Waffen! – внешне совершенно невозмутимо, грызя между делом сухарик, Выгоревский приказал немцам бросить оружие.

Каблуков не захотел оставлять комбата одного и присоединился к нему.

Выгоревский повторил:

– Deutsche Soldaten! Lasst eure Waffen fallen!!

Немцы остановились и что-то крикнули в ответ, потом повторили и ещё более усердно замахали белыми тряпками.

Выгоревский удивлённо повернулся к Каблукову:

– Слушай, я ничего не понимаю, я даже австрийцев понимал, а их ... без стакана хрен разберёшь.

Каблуков пожал плечами, он в языках был не силён. За неимением димпломированного специалиста в их школе немецкий преподавал директор, проведший два года в германском плену.

Немцы приближались, оружие не бросали и продолжали выкрикивать какие-то слова.

– Что-то знакомое слышу, но не могу понять что, американцы похоже орали, когда нас встретили. Только откуда столько американцев тут, да ещё в немецкой форме?

Выгоревский присел на одну коленку и приказал то же самое сделать Каблукову. Теперь лишь их головы торчали из-за виллиса. Сделав глубокий вдох, Выгоревский гаркнул ещё раз:

– *Lasst eure Waffen fallen! Wir eröffnen das Feuer!*

Последние слова, означавшие «мы открываем огонь», прозвучали особенно грозно и убедительно. Немцы остановились, они явно что-то не понимали и колебались, но один раз решив сдаться, воевать уже не захочешь, и сначала пара солдат с левого края, потом в середине несколько человек, затем наконец все стали бросать в успевшую набрать сок густую траву винтовки, пистолеты, автоматы и три пулемёта МГ-42.

Выгоревский и Каблуков, довольные исходом несостоявшегося боя, удовлетворённо наблюдали за этой картиной. Комбат подмигнул ротному, мол, видишь, я ещё не так могу! и добавил вслух:

– А что, признавайся, лейтенант, здорово в штаны наложил?

– Было немного, – сознался Каблуков, он, на самом деле, когда немцы шли на них, струхнул неслабо, уж больно резким оказался переход от той пасторальной идиллии, в которой он пребывал последние дни: умирать так не хотелось.

Каблуков взял свой забытый стакан с вином и махом, как комбат, осушил его, крикнул от удовольствия, а про себя подумал: «И всё же странно это как-то произошло, тут что-то не то».

Странность эту вскоре объяснили сами немцы. Они пятнадцать дней пробивались на запад, кружили по лесам и просёлочным дорогам, избегая встреч с русскими. Питались по первости неплохо, напоролись вначале своих странствий на консервный заводик, но последние дни припасы начали заканчиваться, ведь на себе много не унесёшь, и на еде стали экономить. И вот наконец, разглядывая с опушки леса в бинокль выпирающую с края деревни усадьбу, их командир, лысоватый оберст с рыцарским железным крестом, начавший войну в тридцать девятом под Данцигом, рассмотрел «Виллис» с американской белой звездой, а рядом верзилу в американской, с сеточкой, каске. Дал посмотреть лежавшему рядом унтеру, тот уверенно заявил: «Американец, они все такие здоровые!» После короткого совещания с двумя гауптманами, решил идти сдаваться. Казалось, цель достигнута, и Сибири удалось избежать, но всегда хочется быть уверенным. Вот и кричал в ответ ничего не понимавшему Выгоревскому молодой белобрысый лейтенант по-английски (оберст и гауптманы могли только по-французски): «*Is it non-Russian zone? We want to strike flag!*»

А довольный Выгоревский приказал ошеломлённым внезапным поворотом судьбы немцам построиться в колонну. Они быстро поняли, что обмишулились: навстречу им, безоружным, но успевшим испытать чувство облегчения от того, что скитания закончились, так как было запланировано, стали выходить расхристанные бойцы роты Каблукова. Вот их перепутать с американцами было никак нельзя. Особенно, когда они начали при помощи великого и могучего изъясняться с пленными – за годы войны русский мат многие немцы, как минимум пассивно, на уровне понимания освоили, овладели этим несложным языком межнационального общения.

Каблуков выделили десять бойцов на конвоирование во главе с Лизуновым («Иди, Лизунов, так спокойнее – подальше от глаз комбата!»). Конвойная группа прекрасно понимала мимо чего пролетает, но никто даже не изобразил обиду – настолько велика была радость от благополучного исхода боя, обещавшего стать последним для каждого из них. Немцев отправили на сборный пункт, а Выгоревский, глядя вслед колонне, принялся откупоривать второй пузырь. Первую, недопитую, бутылку он сунул в руки расстроенному немецкому полковнику, тот не отказался, выпил прямо из горла, хоть и противно было принимать хорошее немецкое вино из рук заведомого «юде».

Пьянка не закончилась, пока не выпили всё: оставшиеся в ящике бутылки и вытасканный Выгоревским из заглазника французский коньяк. За пару дней до этого он выменял его у комбата-1 на американский журнал с цветными картинками голых баб (результат очередного дружеского бартера с союзниками – подборка центральных советских газет с фотографиями товарища Сталина и передовых колхозниц за эротическое издание из Нового Орлеана). Пили все, целый день до ночи, предусмотрительный Каблуков выделил двоих для дежурства, налив им лишь по стакану вина и пообещав завтра компенсировать. «Мы, мужики, второй раз родились сегодня!» – говорил Выгоревский, обходя своих боевых товарищей и чокаясь по очереди со всеми. Ему в ответ дружно кивали. Когда кончилось вино, старшина достал две бутылки шнапса, припасённые им для подходящего случая, а случай оказался более, чем подходящим. Выпили шнапс, и тогда майор вытащил из-под сиденья виллиса ещё одну бутылку коньяка, он уже не помнил, как её заполучил, но местоположение второй резервной ёмкости мог повторить с ходу, разбудил его кто среди ночи. Потом ещё кто-то принёс разведённый спирт. К полуночи напились и дежурные, им втихаря подносили товарищи.

Уставший караул заменил проснувшийся Каблуков. Он был не очень стойким к алкоголю, и после часов трёх пьянки, в течение которых он чаще отказывался от стакана, чем принимал вовнутрь, пробормотав: «Больше не могу, Зиновий Ефимыч!», совершил первую попытку покинуть поле пьяни. Выгоревский не одобрил такое капитулянтство: «Да ты слабак, Петро». Лишь минут двадцать спустя, воспользовавшись короткой отлучкой майора, покинувшего застолье для отправления естественных надобностей, командир пьяной роты смог, сильно пошатываясь и крепко держась за перила лестницы, достичь своего ложа. На нём он и отдохнул от бурного общества своего комбата. По пробуждении жутко раскалывалась голова, и Каблуков не сразу нашёл в себе сил подняться с мягкого ложа. Он провалялся несколько часов, проклиная себя за малодушное согласие пить с комбатом («Всё, с Выгоревским в последний раз!»). Потом, собрав волю в кулак, сумел спуститься вниз, там, констатируя полное отсутствие часовых, плюхнулся прямо в одежду в холодную воду ручья и, проведя в нём четверть часа, занял пост у ворот.

Под утро Хайнц достиг очередной речушки. Жутко хотелось есть и спать, но сперва решил перебраться на другой берег, пока русские не проснулись. Однако любая мысль о ледяной воде пробуждала предательское желание отложить переправу на потом. Всё-таки Хайнц заставил себя двинуться к речке. От холода постукивали зубы. Воздух, казалось, не собирался прогреваться после ночи. У одних добрых людей он разжился старым драным свитерочком, но его тонкая материя не сильно помогала. Время от времени приходилось останавливаться и греться при помощи выученных ещё зимой упражнений – присел – резко привстал, присел – подпрыгнул выпрямляясь, и так раз двадцать. Но от дождей никакие приседания не спасали. Шинель с ранцем он бросил там, на поле за Ценебекским лесом, без них сподручнее было удиравать от русских танков, там же остался карабин Маузер-98. Только неуставной нож в чехле, на всякий случай подобранный позже, составлял всё вооружение одинокого солдата несуществующей уже армии. Если что, поможет в ближнем бою.

Хайнц ступил в воду, сунул руку в прибрежные барашки волн: «Бр-рр, студёная!» Раздеваться и плыть через холодное русло реки – жуть, хоть и всего-то метров сорок-пятьдесят нужно преодолеть. Он осмотрелся по сторонам и прислушался, откуда-то справа доносился звук работающего мотора. Вот он стал сильнее, достиг максимума, вот начал удаляться. «Мост, там есть мост, – решил бывший ефрейтор, – ещё рано, машины и люди большая редкость на дороге в такой час, охраны на маленьком мосту не будет. Проскочу!»

Хайнц двинулся вслед ускользнувшим звукам. Он шёл вдоль воды, прикрываясь прибрежным тростником. Ноги вязли в противной жиже, пару раз он черпанул глинистую грязь в широкие голенища. Она хлопала в сапогах, издавая омерзительно-чавкающие звуки. Зато так его никто не мог заметить, разве что какое-нибудь жуткое, кошмарное невезение столкнёт нос к носу с непонятно зачем оказавшимся в этих же зарослях русским. Но для таких встреч у Хайнца и был припасён длинный кинжал со скосом обуха. Дальше – как повезёт.

Наконец добрался до моста, одинокая табличка перед ним указывала на название речки – Schwarze Elster – Чёрная Сорока. «Никогда не слышал о такой, придумают же, – мелькнуло в голове, – причём тут какая-то чёрная сорока?» Хайнц выжал и перемотал фланелевые портянки, снова натянул сапоги и поднялся на дорожную насыпь, осмотрелся по сторонам: метрах в четырёхстах впереди виднелись домики заречной деревушки. Там почти правильными столбиками дымились трубы каминов: все уже проснулись, но у деревенских жителей свои заботы, им нет дел до голодного бродяги. Главное, не наткнуться на русских, а пока ничего не говорило об их присутствии – непотревоженное войной селенье, судя по всему, жило своей размеренной, каждодневной жизнью, как будто не было этих страшных лет, как будто не было городов с целыми улицами скелетов домов без глазниц, как будто не было растянувшихся на сотни метров кладбищ с берёзовыми крестами, как будто не было того страшного поля с разбросанными там и сям кусками человечины за Ценебекским лесом.

Хайнц ступил на бульжную мостовую и решительно направился в сторону противоположного берега речки. Он старался не спешить, вслушиваясь в утреннюю тишину и всматриваясь во всё, что его окружало. Не забывал оборачиваться. Нервы держались на пределе, он вздрагивал от каждого постороннего шума: то каркнет ворона, то плеснёт вода о сточенные камни моста. Может, иди он быстрее, успел бы проскочить опасное место, но тут его полоса везения внезапно оборвалась. Где-то впереди раздались звуки, похожие на стрёкот мотора и почти одновременно с ними, через какие-то секунды, в течение которых опешивший Хайнц пытался понять природу непонятного треска, из-за поворота вынырнула мотоциклетка с коляской. Больше обер-ефрейтор не раздумывал ни секунды и, перемахнув через перила, с двухметровой высоты, как был, в полном своём обмундировании сиганул в кусачую, почти ледяную, как показалось его измученной плоти, воду.

Люди на мотоцикле, трое русских в шинелях, успели заметить мелькнувшую прямо по курсу фигуру. Водитель заглушил мотор посреди моста, люди слезли со своих сидений и начали всматриваться в воду. Один даже перекинулся через ограждение, попросив, чтобы товарищи поддержали его за ноги, и внимательным взглядом исследовал всё пространство под конструкцией из тёсаного камня. К счастью для Хайнца, он не обратил внимания на странно торчавший тростничок, в сторонке от основных зарослей, тянувшихся к солнцу в маленькой отмели на восточном берегу. Русские постояли ещё некоторое время, пытаясь найти что-то подозрительное в округе. Они громко разговаривали, махали руками, хохотали, что-то кричали, видимо, поиски неизвестного беглеца забавляли их.

Всё это время Хайнц провёл под водой с тростинкой во рту. Минуты тянулись нестерпимо долго, казались часами. Было ужасно холодно, вода проникла во все поры и без того продрогшего за ночь тела. Наконец, послышался приглушённый водой шум двигателя, становившийся всё слабее. Тогда Хайнц осторожно, дабы не попасться на стандартную обманку, высвободил из водного плена только верхнюю часть головы. Глаза видели лишь серую громаду

моста, но слух не различил никаких звуков. Проплыв под водой метров пять по течению, он снова окинул взором мост – никого. Облегчённо вздохнув, стал выбираться на сушу.

Но не суждено Хайнцу было в тот день так легко и быстро прекратить вынужденные водные процедуры. Не успел он доковылять до берега, освобождаясь от десятков килограммов воды, не желавших так легко отпускать своего пленника, как почти навстречу ему, точнёхонько под алеющим на востоке солнцем показались грузовики с затянутыми тентом кузовами. Выходить и бежать до ближайших кустов Хайнц посчитал слишком рискованным, высокой береговой растительности вдоль реки почти не наблюдалось, поэтому он переждал проезд тяжёлых «Студебеккеров» в воде, спрятавшись в гуще побегов тростника.

Наконец, грохот удаляющейся колонны превратился в далёкое глухое урчание. Хайнц вылез на берег, добрался, весь дрожа, до сухого, песчаного откоса, присел-подпрыгнул, присел – снова подпрыгнул... и кубарем покатился назад в воду: из деревни выкатил русский «Виллис». «Ну когда ж это кончится, – простонал про себя Хайнц, – что за проклятое место это – Чёрная Сорока, вот уж чёрная, так чёрная!»

Кончилось очень и очень нескоро. «Виллис» остановился на берегу, из него вывалились шумная компания в красноармейской форме – трое мужчин и одна женщина. Они расстелили на земле какие-то тряпки, принесли из машины корзину с бутылками и закусками, и пошло шальное утреннее застолье. Бедный Хайнц тем временем изнемогал, лёжа в остывшей за ночь воде. Его прикрывал всё тот же спасительный островок из тростниковых метёлок, качавшихся на слабом ветру.

А русские веселились, пили, закусывали, громко смеялась их женщина, скорее, девушка лет двадцати с небольшим. Несмотря на разделявшую их почти сотню метров, Хайнц неплохо рассмотрел её округлое личико с рыжей чёлкой. Русским было хорошо, они, наверное, в очередной раз праздновали свою победу. А несчастный Хайнц дрожал от ужасного, всепроникающего холода, ругал по чьём свет стоит своих врагов: «Дикари, ублюдки, звери, нелюди, пьяницы проклятые, у вас всё не как у людей, с утра шнапс жрать целыми бутылками! Да ужритесь же вы скорее, мочи нет этот холод терпеть, садитесь в вашу проклятую американскую тарактелку и валите дрыхнуть или что там ещё у вас в планах. А лучше бы сорваться вам где-нибудь на полном ходу на крутом повороте да всмятку, как куриные яйца под башмаком!»

Солнце поднималось всё выше, а русские не уезжали, после первой бутылки вина, а не шнапса, как ошибочно подумал Хайнц, они достали вторую, потом третью, наконец четвёртую. Кое-кто из победителей уже здорово поднабрался, и стал отдавать честь выползавшей на мост колонне пленных немцев, их шло человек двести, во главе с лысоватым оберстом. Другие участники пиршества смеялись, тыкали пальцами то в своего товарища, то в немецкого полковника. Этих русских тоже забавляло бедственное положение их вчерашних противников.

Хайнц с ненавистью смотрел на пьяных кривляк и долго провожал взглядом своих несчастных товарищей по оружию, мысль о том, что он хотя бы не в плену и через несколько дней сможет обнять свою Анналяйн придавала ему силы и помогла продержаться неимоверно долгих три часа. Он совсем очоленел, ругал вслух – за шумом воды его никто не мог услышать – и этих грязных свиней русских, устроивших с утра пьянку, и эту войну, и этого Гитлера. Он уже больше не мог терпеть пытку ледяной водой, готов был встать и, будь что будет, рвануть из своего убежища куда глаза глядят, когда русские наконец усвистали. Хайнц приподнялся, даже согревающие упражнения не получались, его жутко трясло от холода: тело не слушалось. Идти мочи не было, он с трудом переставлял одеревеневшие ноги, в сапогах хлюпала вода, с выдавшего вида, чуть ли не повсеместно штопанного, мундира прямо по стежкам стекали ручьи. С трудом держась за ограждение моста, Хайнц проковылял через него. Дорога на этот раз была пустая, впрочем, за всё время весёлого русского пикника, кроме пленных, только пара кургузых грузовичков советского производства была замечена на ней. Явно не повезло утром Хайнцу с продвижением вперёд.

И всё же, где на ногах, где ползком, он добрался до крошечной лесопосадки метрах в трёхстах от злосчастного моста. Там, между двумя стройными берёзками, совсем обессиленный, скинул сапоги и рухнул на траву. Солнце уже хорошо пригревало землю, и Хайнц, чувствуя у себя на лице игру светотени от колыхавшихся на ветерке ветвей, забылся в тревожном сне бедолаги-окруженца.

Он проспал больше двенадцати часов. Парочка деревенских детишек, мальчик и девочка, оба лет восьми-девяти, наткнулась на спящего среди бела дня солдата Вермахта, девочка вскрикнула от неожиданности, но Хайнц даже не пошевелился. О своей находке дети рассказали взрослым, но сдавать своего соотечественника русскому коменданту в соседнюю деревню никто не пошёл. Помочь, накормить бродягу тоже не спешили – пусть идёт своей дорогой от греха подальше.

Хайнц проснулся под звёздным небом. Хотел было двинуться дальше да передумал – спину ломило, как тогда в Касселе, года полтора назад, когда после небольшой провинности фельдфебель отправил его на весь день грузить уголь для кочегарки запасного полка. «Надо ещё отдохнуть», – решил Хайнц, пошуровал в кармане, вычерпал оттуда два последних, размокших в кашу сухаря, долго мусолил их во рту, безнадежно стараясь дожидаться сытости, и, глядя в бесконечную галактическую высь, с мечтами об Анналяйн незаметно уснул снова.

Он провёл в царстве Морфея ещё часов пять, его разбудил собственный кашель – речные ванны не прошли бесследно. Хайнц и не от таких приключений простужался, причём сразу, на следующий день начинал сопливать или бухать горлом как русская семидесятишестимиллиметровая пушка «ратч-бум». И тут не обошлось, конечно. «Только бы не воспаление лёгких, если оно, то хана, можно сразу ложиться умирать!» – прошептал Хайнц и заставил себя встать дабы продолжить свой путь. Кашель усиливался, временами чуть ли не выворачивая наружу гортань. Но идти надо было. Его ждала встреча с Анналяйн, с такой милой, симпатичной, нежной, грудастой Анналяйн.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.